



Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

Максим Горький и идеи его новых героев

(Критический этюд)

I

Немногим из писателей-беллетристов удавалось завоевать себе общественное внимание так быстро, как Максиму Горькому. Быть может, он достиг этого, приспособляясь к вкусам толпы? Наоборот: все, что до сих пор вышло из-под его пера, должно бы скорее отталивать «большую публику», чем привлекать к нему: в его произведениях множество теоретических разговоров, чего «большая публика» не любит; герои его первых этюдов грязны, пьяны и принадлежат к подонкам общества, неинтересным «большой публике», любящей, хотя бы в воображении, пожить жизнью и сентиментами князей, графов... У Горького нет и мелочной изящной отделки деталей, излюбленной «большой публикой», которая в этом отношении избалована новейшими беллетристами. Наоборот, его художественные приемы напоминают отчасти приемы Репина в живописи, с тою, однако, разницей, что Репин, бросая на свои картины и портреты огромные, аляповатые мазки, руководится (я смею это думать) больше теорией, чем внутренней потребностью, а у Горького это — результат огромного внутреннего чувства, мучительного искания «правды жизни», которое не дает ему задуматься ни на минуту о деталях, о форме, о приемах. Его краски, эпитеты, слова вырываются сами собою, без его ведома, из сердца, измученного «сутолкой и буреломом», безобразиями и «теснотой жизни», — как вырываются вопли из груди раненного. И в этом их страшная сила. Отнимите у них эту непосредственность, эту железную грубость и раскаленность, и у нас был бы обыкновенный художник, а не Максим

Горький, бьющий по сердцу, как молотом, вызывающий бурю мыслей и настроений.

В этом, т. е. в страстности его «исканий» — его сила, его оригинальность и его власть над толпой, — конечно, не считая крупного таланта наблюдателя и психолога.

Для иллюстрации этой мысли, позвольте мне привести сделанное Горьким описание душевного состояния одного из самых интересных его героев, Фомы Гордеева. Это — молодой богач из купеческого сословия, с огромным умом и сердцем, но совершенно не культивированный. Когда он думал о жизни людей (а думал он о ней постоянно, неотступно, это была его *idée fixe**), эта жизнь представлялась ему в виде «темной толпы людей, неисчислимо большой и даже страшной огромностью своей. Столпившаяся где-то в котловине, окруженной буграми и полной пыльного тумана, эта толпа в смутном смятении толкалась на одном и том же месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жернов, скрытый под ногами, молот ее, и люди волнообразно двигались над ним, не то стремясь вниз, чтобы там скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жернова... Шум, вой, смех, пьяные крики, азартный спор о копейках, песни и плач, носятся над этой огромной, суетливой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они прыгают, падают, ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи друг другу, суются всюду, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носятся, как летучие мыши над головами людей, а люди жадно простирают к ним руки»... и т. д., и т. д.

Когда жизнь представляется в таком виде, то из груди сами собою рвутся вопли и крики у того, кто стоит вверху, в стороне, и видит все, и хочет, и не может остановить эту свалку. Так и было с Фомой Гордеевым, и так, смею думать, чувствует сам автор.

«В груди его (Фомы) возникало что-то хаотическое, одно большое, неопределенное чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба, и еще многое. Все это вскипало в груди до напряженного желания, расширявшего ее, — до желания, от силы которого он задыхался, на глазах его являлись слезы и ему хотелось кричать, выть зверем, испугать всех людей — остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету их жизни что-то новое, свое, ска-

* навязчивая идея (фр.). — *Ред.*

зять им какие-то громкие, твердые слова (NB), направив их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывав друг от друга»... и т. д.

Но тут новая мука: «Он чувствовал, что как бы громко и могуче ни крикнул им: «Как живете? Не стыдно ли?» — они могут и должны ответить вопросом: «А как нужно жить?» Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги к людям, к жернову. И смехом бы проводили они его гибель».

И вот откуда возникает это страстное, даже более, — это «жадное» искание «смысла жизни», заставляющее Фому обращаться и к интеллигентам всевозможных типов, и к странникам, и, не получая нигде ответа, бросаться в пьянство, оргии, дебоши, ненавистные и отвратительные ему больше, чем кому-либо из всех окружающих его и порицающих его жизнь.

И такое же страстное искание видим у Горького. Он также мечется и допрашивается правды у всех, существующих среди нас, идей и направлений. И это доходит до того, что Н. К. Михайловскому, тщательно изучившему произведения Горького, показалось возможным воскликнуть в конце своей статьи о нем: «И неужели этой силе суждено зачахнуть в какой-нибудь нашей «яме», или уверовать в тонкость и остроту «декадентских» игл?» («Русск<ое> бог<атство>». 1898. № 10. С. 93).

Даже декадентских!

Это было написано еще до появления Фомы Гордеева и «Мужика». Интересно исследовать теперь, в какую сторону направились искания этого могучего таланта, и можно ли ожидать, по этому направлению, что он «заглохнет в яме» или дойдет до декадентства?

II

Я не ошибусь, если скажу, что теперь Максима Горького охватило стремление искать объяснения смысла жизни и своих типов в принадлежности их к тому или другому общественному классу. Правда, еще рисуя своих босяков, автор уже задавался вопросом о необходимости отнести их в особый «класс» (пролетариат?). Но он тогда не связал, мне думается, ясной нитью их частные черты с идеей пролетариата. Перед ним мелькало чересчур много типов, они были крайне разнообразны, иногда противоположны (протестующие и созерцатели, жестокие и кроткие etc.). Наконец, они отличались особой

сложностью, так как носили в себе смесь черт своей бывшей принадлежности к разным классам с чертами, вложенными в них общественной отверженностью: тут были — и бывший ротмистр, и дьякон, и учитель, и мастеровой... Наконец, общие черты, свойственные им всем, — неудачничество, пьянство, разврат, — вообще.

Только в «Фоме Гордееве» (1899 г.) мы видим отчетливую попытку свести к «классовому» объяснению целый ряд фигур и именно фигур «интеллигентных». Почему только их, это вполне понятно: ведь от них привыкли все ожидать «направления» жизни, света, ответов на вопросы: «Как же следует жить?»

Таким образом, нужно внести дополнение в мое первое определение того курса, который взяли теперь искания Максима Горького. Это — не просто объяснения типов принадлежностью к классу, а объяснение направлений, недостатков, неудовлетворенности существующих типов русской интеллигенции классовыми причинами. Мы видим уже в «Мужике», для чего это нужно Максиму Горькому: этим путем он надеется наметить (и в «Мужике» старается наметить) приход новых типов «интеллигенции» из других классов, еще не выступавших в истории. И вот, быть может, они дадут, наконец, ответ Фоме Гордееву.

III

Прежде, чем бросим взгляд на эти попытки, заметим, что и до Максима Горького в нашей литературе возникали не раз стремления объяснить типы нашей интеллигенции их происхождением от разных общественных классов. Отсюда явилось, например, представление о «кающемся дворянине». Если не ошибаюсь, Помяловский пустил в ход тип «интеллигентного пролетария» и рядом с ним тип «мещанского счастья». Глеб Успенский старался подметить причины особенностей нашего крестьянства — в занятиях земледелием («Власть земли»); из критиков-публицистов г. Михайловский старался объяснить, например, философию Спенсера его принадлежностью к буржуазному классу (см. статьи о соч. Спенсера¹ «Изучение социологии» и др.).

М. Горький стоит не особняком в нашей литературе, но он отличается от предшественников силой, страстностью и глубокой захвата жизненных фактов именно с точки зрения этой идеи.

Его прием (конечно, непредумышленный, как я уже объяснил выше, а непосредственно рвущийся из сердца, как продукт страстного искания) состоит в том, что он, наряду с индивидуальными чертами героя, схватывает и семейные, наследственные, сложившиеся под влиянием профессии (класса) и усиливает эти последние до такой яркости, что перед нами встает уже не обыденная фигура, которую в жизни мы бы и не заметили, а полуреальное, полуйдеальное, почти символическое изваяние, монумент целого сословия в его типичных чертах.

Начнем с типа молодого Маякина (в «Фоме Гордееве»). Это — сын купца — умного, пронырливого, почти гениального хищника, из которого Горький сделал тоже «монумент», символ (но живой символ) коммерции, — этого царства Меркурия, с крыльями на ногах. Маякин-отец — весь воплощенное движение, иногда росто ради движения, а часто — из корысти, не освещенной никакой этикой, никакими проблемами совести.

Сын есть новейшее развитие этого типа: он начал с «идей», за которые был даже сослан, но мало-помалу сбросил эту первую шкурку, и из него вышел интеллигентный «буржуа», символ веры которого таков: «Источником неудовлетворения (современных интеллигентов русских) является неумение трудиться... недостаток уважения к труду. Человек должен себе избрать дело по силам и делать его как можно внимательнее. Нужно любить то, что делаешь (а если нельзя любить? А другого дела нет?), и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества (это, например, у кочегара на фабрике — творчество?). Счастье есть возможно полное удовлетворение потребностей и обусловлено отношением человека к его труду» (IV, 338—339).

Здесь вся суть этики и философии буржуазного типа, и положительно удивляешься автору, сумевшему в десятке слов схватить эту суть.

Но он показывает нам и более глубокий, скрытый механизм души Маякина-сына: Фома Гордеев пробует возразить ему из своего протестующего «нутра» тем, что «работа еще не все для человека»: «Это не верно, что в трудах оправдание, — говорит он, — которые люди не работают ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... Это как? А трудящие — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... и больше ничего... Но они имеют перед Богом оправдание... Их спросят: вы для чего жили, а? Тогда они скажут: нам некогда было думать насчет этого... Мы всю жизнь работали... А я какое оправдание

имею? Полагаю, что непременно всем надо твердо знать, для чего живешь» (IV, 340).

На это Маякин-сын отвечает не Фоме (с которым-де и разговаривать не стоит), а своей сестре, присутствующей при разговоре:

— Вот, Люба, обрати внимание: пессимизм совершенно чужд англо-саксонской расе... То, что называют пессимизмом у Свифта и Байрона, — только жгучий, едкий протест против несовершенств жизни и человека... А холодного, рассудочного пессимизма у них не встретишь» (IV, 341).

Вот механизм этой души, с помощью которого она отмахивается от голоса этики и совести: подвел вопрос под категорию таких вопросов, которые считают отпетыми, потому что их нет у англо-саксонской расы, и свободен от него! А Фоме посоветовал читать книжки.

В этом ответе проглядывает мысль, к которой Горький возвращается не раз (как увидим далее), о вреде «книжности». И, в самом деле, на первый взгляд оно как будто и так: Фома никогда ничего не читает и он полон чувства, в нем болит совесть. Маякин-сын прочел много книг и ими отмахивался от совести, советуя тот же прием и Фоме. — Но верно ли это? В книжках ли дело? В одном месте Горький замечает, что Фома Гордеев — по женской линии потомок суровых старообрядцев-керженцев. Не вернее ли объяснить его крайнюю противоположность Маякину именно тем, что в глубине души, наследственно, он — суровый этический аскет? Но он сбит с толку, с одной стороны, старокупеческими привычками к кутежу, разгулу и «ндраву моему не препятствуй», а с другой — новейшей цивилизацией, с ее бесцельной сутолокой, огромной производительностью, не дающей никому счастья, но крутящей всех, как вихрь-ураган... Отсутствие знания — смерть для такого человека, так как он не может без него разобраться в противоречивых словах, тянущих его в разные стороны.

А Маякин-сын отмахнулся от совести и без книжек, как отмахивался его отец. Книжки дали ему только иные аргументы, чем у отца, который, впрочем, иногда тоже приводит славянские тексты из разных книжек. Следует помнить, что книжка есть только фонарь, без которого нельзя идти в темноте, но фонарь служит и святому, и разбойнику. Цель человека определяется не книжкой, а его натурой, потребностями, чувствованиями, совестью. Книжки же только освещают и указывают путь для достижения цели, и вот для этого они необходимы. Одинаковая беда и от того, что отрицают книжку, и от того,

что в ней думают отыскать цель жизни. И в том, и в другом случае источник ошибки один: не понимают назначения книжки — служить светочем для всех воли, а не пересоздавать эти воли.

IV

Еще более интересным типом в «Фоме Гордееве» является интеллигент из разночинцев, талантливый, озлобленный, страстно идейный провинциальный фельетонист Ежов. Он — сын отставного солдата: выкарабкавшийся к свету страшными усилиями и двенадцатилетним сидением «над книжками». В этом он видит источник своего теперешнего бессилия, ничтожества перед жизнью и ее злом, которое он может только ненавидеть, громить и проклинать в своих фельетонах, а дальше — пить!

Позднее мы увидим из речи Шебуева (интеллигента из мужиков), как объясняется им бессилие Ежова с классовой точки зрения, а теперь я передам вам (к сожалению, для краткости, своими словами) одну сцену, весьма важную. Наборщики пригласили Ежова на загородную прогулку, по случаю устройства у них артели (по инициативе Ежова). Захватили на это торжество и Фому Гордеева. И вот Фома замечает, что Ежов стал совсем другой, чем обыкновенно: он — какой-то торжественный и даже как будто заискивает у рабочих. В своем тосте он восклицает: «Будущее принадлежит вам! Я ваш по плоти и духу! Я — сын солдата!» Между тем, наборщики явно стесняются его, не уговаривают его остаться, а Фому Гордеева оставляют: он им ближе, роднее. У них свои разговоры не об отдаленном будущем, а о хлебе насущном: «Как бы добиться у хозяина, — просят они Ежова, — чтобы штрафы за неявку брали только с неявившихся по своей вине, а не по болезни» и т. п.

Среди них слышатся и такие речи: «А вы, Николай Матвеевич, судите не по книжке, а по живой правде... Ведь за кусок хлеба не по книжке работают, а по необходимости, и как Бог на душу положит, а не как в правилах ваших написано...»

Ежов чувствует свою «чуждость» в этой среде, в которой теоретически он привык видеть все: все свои надежды, цели, свою пристань и родной дом. И вот он ревнует рабочих к Фоме и, раздражаясь, говорит:

— Да, ведь он из тех, которые пьют вашу кровь! — Рабочие стараются деликатно замаять эту речь, становятся еще ласковее с Фомой и уже почти не слушают Ежова. Фома все это чувству-

ет и понимает сердцем: он видит, что эти люди, долго задыхавшиеся в свинцовой атмосфере, пришли сюда вздохнуть свежим воздухом, отдохнуть, повозиться, попеть, а их заставляют рассуждать об их «великом» будущем. Он чувствует и за Ежова и жалеет его, а когда тот, уходя домой, в темную ночь, плачет, корчится в нервном припадке и кричит, что у него «нет дома», Фома, «воз-

муценными страданием человека, измученного теснотой, полный обиды за него, в порыве злой тоски, зарычал громким голосом, обратившись туда, где сверкали огни города:

— Анафемы! Будь вы прокляты! Погодите! И вы задохнетесь!»

V

Прежде, чем мы сделаем выводы из этой сцены, перейдем к интеллигенту-мужику (он же и архитектор Шебуев) и прежде всего к его объяснению неудач интеллигента-разночинца (очерк «Мужик», «Жизнь» за март 1900 года).

— У нас был интеллигент-дворянин, — говорит Шебуев, — он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные, вечные ценности и все-таки отцвел, не окупив и половины затрат, которые употребила страна на то, чтобы возродить его... На смену ему явился интеллигент-разночинец. Этот дешево стоил стране: он явился в жизнь как-то сразу и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает (вспомните, читатель, Ежова). Может быть, он возродится? Не знаю... не охотник я до гаданий... Думаю мне, что дворянин и разночинец потому так скоро устали жить, что одиноки были. Родни в жизни у них не было, работали они для человечества и народа, а это — величины мало реальные, не осязательные... На смену им идет мужик, рабочий интеллигент, и в то же время растет буржуа, купец-интеллигент»...

В Шебуеве именно и выведен мужик-интеллигент. В чем же его отличие от интеллигента-разночинца? Прежде всего, у него в жизни есть «родня» (свой «класс»), поэтому его «первая задача — расширить дорогу к свету для своего брата-мужика, для брата по крови, оставшегося внизу и позади... свой брат — это уже реальность...» В другом месте он выражается определеннее: «Я не вижу в своей задаче ничего героического... Ведь, я, в сущности, не сказал нового слова. Что я сказал? Не надо забы-

вать тех, кто остался сзади нас, тем более не надо, что мы сами только что явились оттуда. Вы отметьте — мы сами оттуда, это очень важно! Нам не из сострадания, не из высших соображений, а из простого расчета не следует забывать о наших товарищах, живущих в грязи в то же время, как мы попали на лоно культуры... Нас, демократов по крови, еще не так много, чтобы нам не заботиться о судьбе наших товарищей».

Действительно, большая разница должна быть в результатах прогресса просвещения оттого, стараются ли люди за кровных или работают во имя высших соображений и сострадания. Мотив, в первом случае, проще, общедоступнее, а потому он если и не интенсивнее, то большую массу людей способен двигать. Наоборот, героев отвлеченной идеи всегда немного*.

Итак, соглашаясь с тем, что, чем больше будет притекать к интеллигенции мужиков-интеллигентов, тем дело света для массы пойдет быстрее, я должен, однако, остановиться на обвинениях Шебуева, направленных против современных интеллигентов-разночинцев. Вот главные из этих обвинений: «Они односторонне развившиеся люди, люди только ума, а жизнь требует гармонического человека, который был бы не только умен, но и добр: только тогда он будет жизнедеятелен, т. е. будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия, согласно роста своего «я». Нас очень много, господа! И по количеству мы давно уже сила. У нас много желаний — хороших, честных... затем у нас потоки речей и ни крупицы дела! Ну, пожалуй, крупницы есть, — все эти журналы, романы, статьи, именно крупницы, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав, спорят, поспорив, забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад...»

Откровенно говоря, в этом очень, очень много правды. Но где же причина? С одной стороны, снова обвиняется (и, кажется, главным образом) наша «книжность»: «Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью довольно пошлых сомнений, которыми мы еще рисуемся. Послушайте наших поэтов и писателей... Жизни мы не знаем, — с детства учимся грамоте, лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании нашего воображения. Кормимся мы литературой, а здоровую пищу не-посредственных впечатлений наш мозг отказы-

* Сам Шебуев признает в другом месте, что героическое самоотвержение вызывается борьбой за идеал жт;^ии, а не за кровные интересы.

вается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросит нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас бросаемся к книге, чтобы посмотреть: «а что там написано»...» «Между тем, любовь к идеалу, это — чувство деятельное и страстно склонное к жертве. Жизнь — это прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанное творчество новых форм. Но жизнь-то мы и не любим (идут доказательства). Мы любим какую-то частность, что-то выдуманное нами, но только не идеал жизни» (145).

Шебуев употребляет местоимение «мы», но в конце 145 страницы говорит, что «имел в виду интеллигента-разночинца». Себя он считает новым типом «интеллигента-мужика». Чем же, не на словах, а в действии он отличается от первого? Пока немногим: «...Они ходят в гости только друг к другу, отчасти, как бы боясь растратить среди нечестивых свои идеи, — что доказывает их недостаточную уверенность в этих идеях, отчасти же — потому, что имеют преувеличенно высокое мнение о себе». Шебуев же ходит всюду; ему знаком весь город. В результате, ему удастся подбить одного купца — выстроить «народный дом» с аудиторией, библиотекой etc. *

Судя по тому, что, сообщая об этой новости знакомым, Шебуев мрачен, можно заключить, что он считает эту победу неважной. Но тут рассказ прерывается: что сделает Шебуев дальше, — скажет будущее. Пока же мы не видим, чтобы он делал или собирался делать что-нибудь, чего не делали его предшественники (интеллигенты-разночинцы). И у них главным делом было — «вносить свет к оставшимся там, внизу», и среди них далеко не все ходили только «к своим», чуждаясь остального общества. Но они делали и больше, гораздо больше.

Возможность создавать что-нибудь новое в жизни дается только предшествующей работой созидания тех элементов, из которых можно создать это новое. Через это не проскочишь! Как бы ни был велик энтузиазм буров, но они не победят англичан, пока у них не будет больше войска. То же и относительно выступления на сцену истории разных групп. Интеллигент-дворянин мог выступить раньше разночинца и мужика, потому что даже юридические нормы не допускали другого. Конечно, отдельные гиганты, как мужик-Ломоносов, или мещане — Никитин, Кольцов, или разночинец Белинский, — могли подняться и пробиться через всякие нормы, но, ведь, таких два-три и обчелся. Но вот естественно, что первой задачей всякой на-

* и так далее (лат.). — *Ред.*

рождавшейся интеллигенции (будет ли она из дворян или из мужиков, как Ломоносов, или из мещан и разночинцев, как Никитин, Белинский), является одно: увеличить сперва свои кадры, и, конечно, вначале — по линии наименьшего сопротивления, т. е. в своей ближайшей среде. Когда же кадры настолько достаточны, что можно уже влиять и на жизнь, на те ее юридические нормы, которые мешают свету проникнуть и ниже, а стоящему внизу — подняться вверх, тогда мы видим, что у нас и интеллигент-дворянин, и интеллигент-разночинец (напр<имер>, лучшие люди 60-х годов) добиваются освобождения крестьян, создания земства (а с ним и десятка тысяч школ для народа), создания печати, несомненно более свободной, чем она была ранее и т. д., и т. д.

Таким образом, расширился не только тот круг, на который могли падать теперь лучи света, но и облегчился подъем снизу. И вот теперь оттуда уже идут не единичные гиганты Ломоносовы, а сотни и тысячи самых обыкновенных Шебуевых. Кто же это сделал для них? А далее: из кого, как не из десятков тысяч интеллигентов-разночинцев, подготовленных другими интеллигентами — дворянами и разночинцами, создались народные учителя, земские врачи, женщины-врачи, фельдшерицы, вносившие тот свет вниз, который создал этих Шебуевых, и их мечту — подняться вверх?

Но почему же теперь этот самый интеллигент-дворянин и интеллигент-разночинец (не только «поднявшие» огромный груз, но и сделавшие гигантское историческое дело в каких-нибудь 50 лет) вдруг «отцветают»? Почему им нет работы? Шебуев говорит, что, быть может, они еще воскреснут, но его факты говорят другое, и он может ответить мне: «Вы согласились со мной, что моя картина бездействия современной интеллигенции верна».

Да, верна, но объяснение ее, по-моему, неверно.

Прежде всего, я не согласен с вами, что этой интеллигенции «много, очень много, — что по количеству она уже сила».

Ее едва ли много даже для старого дела, остающегося еще и теперь новым, т. е. для внесения все большего и большего света в «низины и ямы», где еще царит почти тьма, в огромном большинстве. Но ее совсем мало вообще, для более широкой деятельности. Посмотрите: вы сами, беседуя перед кружком интеллигентов целого губернского города — скольких можете насчитать? Пять-шесть, да и среди них борьба за слова, — за наименованием живого дела, — доходит до взаимной вражды, почти ненависти. А Ежов? Он совсем одинок на целый губернс-

кий город. Так не потому ли, г. Шебуев, интеллигенция пока ударилась в книжную жизнь? Не потому ли у нее (как результат неупражнения) ослабели — и воля, и сила чувствования, и сила действия? Не потому ли в ее среде идет вражда за идеи и слова, — вражда, которая при невольном бездельи принимается за факты и за самую жизнь.

Не ясно ли, что задача теперешней интеллигенции фатально пока та же, какая была и у всех прежних (да и вы сами провозглашаете ту же задачу), а именно — расширять, все еще расширять круг освещенных, пополняя тем свои кадры. И неверно, что интеллигенция (хотя бы дворянская и разночинская) не имела и не имеет «родни» в жизни. Она имеет ее во всех, кто, просвещаясь, становится интеллигентом, потому что интеллигенция — это класс, и ее борьба имеет не фантастический, а вполне реальный объект: тьму, бесправие мысли и слова. И у нее не одни «высшие соображения» являются мотивами, но и самые кровные интересы существования. Разве не ради самосохранения Ежов старается отыскать себе «родню» в наборщиках, и он терпит неудачу, конечно, не потому, что он сын солдата (разночинец) и много учился. Нет, эти типографщики сами, быть может, дети солдат. Их разделяет только то, что они еще мало учились, — что общий круг просвещения еще не очень широк. И в такое время говорить против книжности — ошибка. Конечно, книжка сама по себе ничего не создает: создают потребности, чувства, инстинкты. Но они для своей силы (которая в единении с другими) нуждаются в сознании, а для своего шествия вперед нуждаются в знании путей, — значит, — в свете. Это зависит от интеллигенции. А желания и жажда лучшей жизни есть и без нее; о них нечего заботиться. Не рано ли еще интеллигенции делиться по классам на враждующие группы? Это еще успеется.

